

Виктор Вургафтик

МОЁ И НЕ МОЁ

Сентябрь-октябрь 1973

1. Что моё и что не моё, что внутреннее и что внешнее? Звёзды не моё, тело моё. Карандаш тоже мой. А камень или дерево?

Что вообще значит моё? То, над чем я имею власть, подвластное моей воле. Существует ли что-нибудь, подвластное мне абсолютно? Только одно – я сам. А совершенно не подвластное мне? Только то, о чём я не знаю, даже звёзды я могу использовать для себя, тем более камень или дерево. Ещё более я властен над своим телом.

Мир состоит из вещей, подвластных мне в той или иной степени. Это его материя. А сама моя власть над ними, моя воля – его форма, потому что она даёт ему единство: абсолютно моё через различные степени относительно моего переходит в абсолютно не моё.

2. Деятельность воли – увеличение моей власти над вещью, увеличение степени, в которой она моя. Напротив, деятельность мысли – уменьшение этой власти, в какой-то мере утрата. Поэтому мысль парализует волю, а воля отстраняет мысль.

Я стремлюсь быть всем или ничем – абсолютно владеть всем миром или быть абсолютно безвластным – не существовать. Во мне не одно из этих двух стремлений, а оба, и от первого происходит воля, от второго – мысль.

Потому я постоянно совершаю колебания между ними. К таким всё возрастающим колебаниям сводится и научно-технический прогресс: деятельность воли – это техника и эксперимент, которые следуют за научной теорией, деятельность мысли – научное открытие, следующее за техникой и экспериментом; и в технике я всё могущественнее, а в теории – всё отрешённее от мира.

3. Воля и мысль относительны: они могут лишь увеличить или уменьшить мою власть, но не могут сделать ее абсолютной или несуществующей. Абсолютно моим, т.е. мною, мир становится благодаря тому, что я называю вдохновением. В этом состоянии у меня нет воли, ибо я уже не могу увеличивать свою власть, но нет и мысли, так как конечное уменьшение не может уменьшить бесконечности. Потеря этой абсолютной власти есть воображение, которое так же заключается в рождении образов, как мысль – в рождении понятий. Вдохновение и воображение – моменты художественного творчества.

Абсолютную утрату мира, которая уничтожает и меня самого, можно назвать опустошением. Оно, очевидно, тоже устраняет и мысль, и волю. Как назвать акт, обратный ему, – возрождающий меня и мою относительную власть? Я так его и назову – возрождение.

4. Я ввел здесь три пары взаимно обратных категорий: мысль и волю, вдохновение и воображение, опустошение и возрождение. Каждая из них означает усиление или ослабление моей власти: воля и мысль – относительное, вдохновение и опустошение – абсолютное, а воображение и возрождение обратны к последним двум.

Первая пара имеет отношение к науке и технике, причем последовательность воля-мысль – к науке, а мысль-воля – к технике. Вторая пара имеет отношение к искусству.

Есть и такие виды деятельности, которые выполняются только волей. Чистая мысль – орудие собственно философии.

5. Опустошение отрицает меня абсолютно, мысль – относительно.

По-гречески абсолютное отрицание передается выражением οὐχ οὐ, относительное – μή οὐ. Наоборот, вдохновение есть моё абсолютное утверждение, по-гречески ὄν – сущее, а воля – относительное утверждение, εἶναι.

Моя повседневная жизнь состоит из актов μή οὐ и εἶναι, не изменяющих относительного характера моей власти над миром. Акты οὐχ οὐ и ὄν представляют собою выходы из этой жизни, выходы из времени: οὐ отождествляет со мною мир, а οὐχ οὐ умерщвляет меня.

Я стремлюсь к οὐχ οὐ или οὐ, причем во мне не одно из этих стремлений, а оба. Но первое осуществляется лишь как μή οὐ, второе – лишь как εἶναι. Акт, не осуществляющий ни одного из заложенных во мне стремлений, есть страдание. Таким образом, условие страдания - μή οὐ или εἶναι, мысль или воля.

6. От страданий освобождает οὐχ οὐ или οὐ – то, что я назвал опустошением и вдохновением. Но страдания нет и тогда, когда нет никакого акта, нет мысли и воли – некоторой утраты вещи и некоторого её приобретения. Бывают ли также состояния?

Занимаясь чистой математикой или логикой ради них самих, читая сказку, я обычно никаких вещей не теряю и не приобретаю, это не есть деятельность мысли или воображения в том смысле, в каком я понимал эти категории до сих пор. Мысль – всегда мысль о какой-то вещи, которой она в известной мере и лишает меня. В чистой же математике или сказке я не имею в виду чего-то, стоящего за моей мыслью, и потому буду называть её иначе – идеей; это слово, как и у Платона, будет обозначать нечто самостоятельное. Подобным же образом воображение относится к абсолютно моему миру, данному мне вдохновением, и отнимает его у меня. Но чтение сказки обычно не сопряжено с вдохновением, так что за возникающими у меня образами я не могу полагать абсолютно мой мир. Чтобы подчеркнуть их самостоятельность, я вместо слова "образ" буду употреблять платоновское "эйдос", изменяя его как существительное мужского рода.

Выше я писал, что деятельность мысли есть рождение понятий, а деятельность воображения – рождение образов. Отсутствие же актов, неизменность той степени, в которой вещи подчинены мне, может состоять в возникновении идей и эйдосов.

7. Неизменность моей власти над миром может состоять также в действиях, которые, в отличие от волевых, ничего мне не приносят. Я совершаю их не ради какой-то будущей пользы, а ради них самих, ради настоящего мгновения. Вслед за Я.С. Друскиным я назову их абсолютно свободными.

Итак, отсутствие актов мысли и воли может заключаться в возникновении идей, эйдосов и совершении абсолютно свободных действий. Все такие состояния свободны от страданий.

По существу, идеи – лишь абстрактные эйдосы, такие, у которых нет ничего, кроме очертаний, величины, соединения. Так же понятия относятся к представлениям, но эти создаются деятельностью мысли – некоторым отчуждением вещей, к которым они относятся, – тогда как идеи и эйдосы не относятся ни к каким вещам и не создается никакими отчуждениями.

Примером появления эйдосов является воспоминание безвозвратно утраченного прошлого, происходящее без всякой цели. В этом случае я не увеличиваю моей власти над какими-либо вещами, но и не могу её уменьшить, так как вспоминаемые вещи уже не существуют.

8. В слове соединены и воля, и мысль. Когда я произношу его, степень, в которой вещь – моя, падает или растёт – в зависимости от того, преобладает в нём мысль или воля. Произнося при виде утренней зари "Солнце ещё под горизонтом", я в какой-то мере теряю её; но если я скажу:

«На полусветлый небосклон

Восходит утро золотое», –

это будет приобретением. Иногда отчуждение или обретение приближается к абсолютному – первое, например, при словах "вещь в себе", а второе –

«Встала из мрака младая с перстами пурпурными Эос».

Отчуждение словом свойственно философии в узком смысле, обретение – поэзии.

Говоря о слове, я вообще имею в виду сочетание слов – высказывание. Его действие на вещь – отчуждающее или обретающее – зависит от сочетания слов /в которое я включаю также их последовательность/ и вещи.

Поэзия как будто прозревает имена вещей, и они повинуются её зову. Наоборот, философия отыскивает звукосочетания, отпугивающие их.

Моя речь – это магические заклинания, управляющие сонмом окружающих меня вещей, заклинания εἶην и μὴ ὄν. Но существуют высказывания, которые их не гонят и не призывают, потому что им нет до них никакого дела. Воля и мысль уравнивают друг друга, и это их гармоническое единство не есть уже ни мысль, ни воля. Это эйдос. Такая речь есть мир, независимый от мира вещей – того мира, материя которого – вещи, а форма – моя власть. И я уже не относительный властитель его, а этот новый мир.

9. Обыкновенно над людьми я властен много больше, чем над вещами. По сравнению с последними люди как бы абсолютно мои: перед лицом вещей люди – это я сам.

Поэтому они смотрят на вещи так же, как я, не считая наиболее близких мне вещей, которые по сравнению с ними не далеки. Мы одинаково смотрим на звёзды, камни и деревья, но этого нельзя сказать о моем коте, какой-нибудь моей любимой одежде или о моем теле.

То, что есть моё в малой степени и оттого другим кажется таким же, как мне, может быть названо объективным /внешним/. То же, что в большой степени моё и от других скрыто, есть субъективное /внутреннее/. Объективным занимаются наука и техника, субъективным – философия и искусство. Но я – ни то, ни другое, это абсолютная субъективность – я сам.

Таким образом, люди относятся к субъективному и не подлежат ведению науки и техники. Объектом физиологии и медицины является не человек, а органы, системы, клетки и их взаимодействия. Я обнаруживаю их с помощью тех или иных технических средств – ножа, микроскопа, рентгеновского аппарата: вещи, мне неизвестные, т.е. абсолютно не мои; деятельность воли делает более или менее моими. И тут же научная мысль объективирует их. В результате они оказываются у самого горизонта и потому значительно менее мои, чем сам человек: они объективны, а он относится к субъективному.

Итак, человек – это одно, а органы и клетки – совсем другое. Но я могу подумать, что он состоит из органов или клеток, что эти органы или клетки – его. Такая мысль превратит его в эти последние, т.е. исторгнет в область объективного. У меня не окажется с ним ничего общего – ничего, что представлялось бы нам одинаково, и мне останется только положить его на операционный стол или исследовать с помощью микроскопа. Утратив его, я буду пытаться его вернуть посредством воли.

Такое представление обо всех людях уничтожило бы совсем объективное и вместе с ним человеческое общество. Но этим оно лишило бы себя устойчивости: ставшее субъективным, никем не разделяемое, оно не могло бы удержаться.

10. Последнее – пример мысли, которая не только отчуждает, но и членит. Но мысль может, напротив, отчуждая, растворять в большем. Она может сделать человека не естественнонаучным объектом, а социологическим, т.е. превратить его не в органы или клетки, а в общество, иными словами, в производителя, потребителя и т.п. – некоторую вещь из области объективного. Но и такое отчуждение всех людей уничтожило бы и объективное, и общество, и, наконец, само себя.

И если у меня нет мысли, что алмаз состоит из атомов углерода, этот камень – одна вещь, а атомы углерода – совсем другие. Он давно уже был моим, он был уже огранён, отшлифован и оправлен, когда воля только открыла мне их, а научная мысль отодвинула к самому горизонту. Поэтому атом углерода более объективен, представляется всем более одинаково, чем алмаз.

У меня может не быть мысли, что он – минерал, выкристаллизовавшийся при большом давлении из кимберлитовой магмы. Тогда он – одна вещь, а кимберлитовая магма и её кристалл – совсем другая. И последняя объективнее его, для всех более одинакова, потому что он давно уже был моим, когда геологические исследования лишь выдвинули её из-за горизонта.

Но во мне живут два стремления – быть всем и быть ничем, и они заставляют меня открывать все новые вещи и объективировать их, а одно лишь второе – сводить к ним несравненно более близкие. Оттого я стремлюсь всё утратить. Такова моя научно-техническая и философская тенденция. Её дополняет художественная – всё обрести, – это пробивается первое моё стремление.

11. Почему, распространив свою волю на неведомое – открыв остров, звезду или частицу, – я сразу же начинаю описывать его, пытаться его объяснить? Ведь я желаю лишь одного – чтобы эта вещь была абсолютно моею, была мною; почему же я строю теории, которые отчуждают её?

Моей воли недостаточно, чтобы овладеть ею полностью, вместе с тем она уже слишком моя, чтобы люди могли относиться к ней так же и прийти ко мне на помощь. Поэтому я в какой-то мере отступаю от неё: моя мысль отчуждает её в область объективного. Теперь мы все относимся к ней примерно одинаково; в отношении к ней наши воли складываются в коллективную волю.

Последней удаётся овладеть вещью в большей степени, чем моей индивидуальной воле, которая её открыла. Но, когда она оказывается притянутой из области объективного, одинаковое отношение к ней исчезает: из объекта коллективного усилия она становится яблоком раздора. Из-за острова начинается война; частица превращается в оружие, к которому тот, над кем оно занесено, относится, конечно, иначе, чем тот, кто его заносит; техническое усовершенствование для того, кто его ввёл, – не то же, что для того, кого оно коснулось.

12. Я затрагивал три выхода из этого вещного мира: ούχ οἶν, οἶν, и независимый от него новый мир, в котором идеи, эйдосы, абсолютная свобода. В первом из них нет любви к человеку, в нём ничего нет. Во втором – любовь ко всему, и к человеку – так же, как к восходу солнца, дереву или морю. Может ли она быть в третьем?

Если да, она так же не имеет отношения к тому, кого я люблю, как идеи, эйдосы и абсолютно свободные действия – к окружающим меня вещам. Я не стремлюсь овладеть им, я даже не думаю о нём. Но существует отдельный мир, в котором живёт любовь, и я есть этот мир. И её предмет не за нею, а в ней самой.

13. Эта любовь не от мира сего. Любовь же от сего мира – εἶνυ, деятельность воли, направленная на предмет любви. В начале может быть вдохновение, сопровождающееся воображением – потерей абсолютной власти над миром. Последнее может воспевать и призывать предмет любви, потому что оно есть его утрата. И вот, когда он перестаёт быть абсолютно моим, я стремлюсь вернуть его. Это и есть та деятельность воли, которую я назвал любовью от сего мира. Благодаря ей этот человек может стать более моим, чем все остальное, но уже не абсолютно, разве что меня вновь посетит вдохновение.

При такой близости ко мне он разделяет со мною не только объективное, но и многое из субъективного, мы с ним хорошо понимаем друг друга. У нас одно внутреннее, однако не всё: моё самое интимное и, наконец, я сам от него закрыт.

14. Откуда я и куда иду? В начале мир был мною, но я утратил его, и эта утрата родила образы и мифы. Моя власть над ним стала ничтожной, и моя радость, смысл моей жизни, счастье стали заключаться в том, чтобы его вернуть. Я стремлюсь захватить всё, это стремление – я сам, это – моя воля. Но слаба моя воля, и ей не достичь счастья. И лишь вдохновение даёт мне его.

И я отрекаюсь от воли – начинаю мыслить. Не навсегда отрекаюсь – после передышки снова набрасываюсь на мир, но, выдохшись, снова отступаю. Но я отступаю не до конца, всегда сохраняю нечто, и только опустошение ничего не оставляет мне, не оставляет и меня самого.

И вот я отказываюсь от себя – от радости и счастья – и от мысли, которая мне больше ни для чего не нужна и не в состоянии меня очистить. Я замираю на месте – в мире слов – идей и эйдосов, – абсолютно свободных действий и любви. Меня интересует не обретение чего-то, а лишь настоящее мгновение. Но затем опять мысль и воля.

Куда же я иду – к обладанию миром, к новому, своему миру или к исчезновению?

15. Что такое знание? Им может быть лишь мысль или воображение, или опустошение. Таким образом, знание есть акт, а не что-либо закреплённое. Знание есть утрата.

О чём оно? Если это мысль, утрата вещи, то об этой же утрачиваемой вещи, об ее утрате. Если воображение, утрата мира, то об утрачиваемом мире. Если опустошение, утрата жизни, – об утрате жизни, о смерти. Итак, знание тождественно своему предмету.

Мысль есть возникновение понятий и представлений, она есть возникающие представления. Воображение – являющиеся образы. Опустошение есть откровение. Поэтому может быть лишь возникающее, актуальное знание. Как возникшее оно не существует.

Итак, знание есть познание. Ему противоположно получение – воля /получение вещи/, вдохновение /получение мира/, возрождение /получение жизни/. Если я хочу знать что-либо, я не могу его получать, не могу даже иметь – могу только утрачивать. Получая же, я не могу знать.

16. Что значит думать о себе? Думать о себе самом, т.е. о том, что абсолютно мое, я не могу. Но я разлит по всему доступному мне миру, я в каждой вещи – в той степени, в какой она моя. Поэтому думать о себе значит думать о той или иной вещи, и я не могу думать о какой-либо вещи, не думая о себе. Думать о себе значит в какой-то степени терять мир.

Я всегда думаю о себе в связи с определёнными людьми и вещами. По существу, я думаю об этих людях и вещах, о себе же – поскольку они мои, поскольку я в них присутствую. Оттого я много сильнее думаю о себе, когда думаю о близком человеке, своей комнате или вещи, стоившей бóльших усилий, чем когда думаю о звёздах или атомах.

Если же я всё-таки думаю о себе безотносительно к иному, если я думаю о себе самом, это уже не думание, не мысль; это опустошение.

17. Из-за того, что моя власть над вещью неполна, относительна, последняя изменяется независимо от меня. Чашка может разбиться, человек –

умереть, комнату могут у меня отнять. Ощущение временности есть ощущение неполноты моей власти.

Таким образом, время – от моей слабости, от того, что вещи лишь относительно мои. И чем меньше они мои, тем безраздельнее господство времени: всевластное в области объективного, оно с погружением в субъективное слабеет и не имеет никакой власти надо мною самим. Чашка разбивается и исчезает для меня, человек же, умирая, не исчезает – лишь тускнеет. Он умирает постепенно и может вновь ожить, смерть же как факт существует для меня лишь постольку, поскольку моя мысль отчуждает его в область объективного, превращает в объект физиологии и медицины. Память – от моей власти над вещью, я почти не помню того, что лишь в малой степени было моим.

Деятельность воли дает мне некоторую вещь. Её исчезновение или ощущение её временности вызывает страдание. Или вещь становится моей без всяких моих усилий, но я стремлюсь воспрепятствовать её исчезновению; в этом случае я также страдаю. Воля вместе с временностью того, на что она направлена, есть страдание. Но я называю волей именно относительное увеличение моей власти – такое, которое не может устранить временности. Поэтому достаточным условием страдания является любой акт воли – εἴην, хотя оно может наступить не тотчас же. Но одно лишь исчезновение вещи, без малейших моих усилий, не вызывает страдания.

18. Прибавление. Я разлит по миру, и каждая вещь, которая мне как-то известна, – в той или иной степени я. То, что является мною в малой степени, составляет объективное. В малой по сравнению с чем? С людьми, которые, таким образом, в отношении к этой части мира почти не отличаются от меня самого – от того единственного, что есть я в абсолютной степени.

Существую ли я сам? Если да, то это есть единственное, не подверженное независимым от меня изменениям, так как моя власть над ним абсолютна. Тогда существует нечто, чего не касается опустошение и смерть, если только оно само себя не уничтожает.

Но, может быть, я сам не существую, может быть, моя власть с погружением в субъективное неограниченно приближается к абсолютной, однако самого этого предела не достигает? Тогда меня нет совершенно не только далее объективного, но и там, где моя власть, казалось бы, становится бесконечной и где должен быть я сам: на месте меня самого – дыра, самое внутреннее есть самое внешнее.

Тогда всё подвержено не контролируемым мною изменениям, и опустошение и смерть ничего не оставляют от меня. Заполняется ли дыра во мне вдохновением? Если заполняется, то и вдохновение не нарушает единства самого внешнего с самым внутренним, но в нём они едины потому, что оба – я, а вне его – потому, что оба – не я. И во вдохновении мир един как я, а в опустошении – как не я. И два заложенные во мне стремления суть стремления к этому единству.

Но если я сам не существую, если на месте меня самого – дыра, из чего я изливаюсь на мир, из чего изливается моя воля? Тогда её источник – не я; источник я есть не я.

Моё благо – в распространении; когда я распространяюсь на весь мир, заполняю всё, оно переходит в блаженство. Это распространение и жажда его – способ моего существования. В каждой вещи моё внимание привлекает не то, что она уже в какой-то степени моя, а то, что она моя не вполне, и я жажду ее заполнить.

Но во мне заложено и противоположное стремление, от которого происходит познание. Оно одерживает мой разлив и осушает меня. Оно лишает меня блага.

Что же сдерживает меня и осушает? Я сам? Но способ моего существования – разлив и жажда разлива. Как же я могу сам отступить, как могу оставлять захваченное? Как возможно познание, если оно исходит от меня? Вообще, как может во мне быть стремление не быть? Разве я и стремление быть и расти – не одно к то же? Итак, не исходит ли познание от того, что не есть я, – что излило меня, а теперь, наоборот, вбирает?